

Глава 1

Жизнь проходит гораздо быстрее, чем это кажется нам в начале пути или даже где-то в середине золотой. И когда мы оглядываемся на пройденное и пережитое — наступает пора колдовства: люди и события, горы и моря, города и веси вспоминаются нам совершенно в другом, очаровательном свете. И я в этом ряду — не исключение. Хотя в ту пору в Волчихе нам пришлось хлебнуть...

Жили мы тогда не только без отца — без матери, которую «цыгане увезли», эту странную новость нам, троим ребятишкам, сообщила баба Луша, Лукерья Захаровна. Мы долгое время понять не могли, что же в самом-то деле случилось, куда и почему пропала матушка и причём тут цыгане.

Поначалу баба Луша сплела домотканую сказку о том, что мамка наша, Марья Ивановна, уехала в далекие края за какими-то волшебными спичками, которыми снега зажигают во время старин-

ного русского праздника «Марья зажги снега». Но вот мы с горем пополам отзимогорили, пришли весенние деньки, краснопогожее солнце раззадорилось над бором, над полями, и снеговье кругом сторело сырою, но горячей, трескучей берестой — земля, подсыхая, дымилась, чернела, как после пожараща. А мамки нет, как нет.

И опять мы, все трое, прицепились к бабушке, едва ли не хором завыли, как голодные волчата:

— Где мамка? Где? Она ведь не за спичками уехала?

Баба Луша сдалась:

— Не за спичками, нет, врать не буду. Цыгане ее увезли.

Голодные волчата разом перестали выть. Растерянно и лупоглазо уставились на бабу Лушу.

О цыганах по селу ходили всякие жуткие рассказы, побрехушки и слухи, от которых на детских бестолковках волосья вздыбливались.

Говорили, будто цыгане всех ежей изловили в Касмалинском бору и сожрали, потому как любимое и распространенное цыганское блюдо — запеченный ежик или жареный. А еще говорили, что из-за цыган в нашем бору появились медведи. Раньше-то их не было. А когда цыгане со своим косматым дикарем, сидящем на цепи, кочевали по Степному Алтаю и остановились около Волчихи, медведь то ли цепь перегрыз, то ли ошейник порвал. Короче говоря, удрал на волю. Вот с тех пор и началось: через годик-другой пасечники жаловаться стали — мишка, мол, приходит, разоряет улья. А позднее и грибникам, и ягодникам медвежата попадались на глаза. И все чаще в бору можно было встретить разграбленные муравейники, огрызки зеленых жирных борщевиков — медвежье лакомство. Лесники и добровольные охотники топтыжили по звериным тропам и непролазным углам заповедного бора, отстреливать пытались, да бесполезно — косолапый, только с виду неуклюжий, ловко уходил в туманы и урманы, и словно сквозь землю проваливался, чтобы в потемках вдруг объявиться возле костра обалдевших стрелков, быстрее любых обезьян залезающих на деревья.

Много чего говорилось на эту тему — язык-то без костей. Но скорее всего это были страшилки для малых детей, чтобы они лишний раз не уходили в бор, где можно заблудиться. Ведь на самом-то деле все обстояло с точностью до наоборот: ежей в бору

встречали, а вот мишку топтыгина — нет. Но как бы там ни было, а упоминание о цыганах заставляло насторожиться.

— Баба! Так ты же говорила, что цыгане ребятишек воруют, а мамка-то большая.

— И большие бывают как малые дети.

— А куда ее цыгане увезли? А зачем?

— Я почему знаю? Отстаньте. Вот приедет, сами спросите.

— А когда она приедет?

— Скоро.

— Ты зимою нам так говорила.

— Ну, так чо же? Я не прокурор.

Глава 2

Старший брат мой Шурка частенько пропадал в Карасуке — городок в Новосибирской области. Там жил отец, который сына смаживал, обещая горы золотые в виде кирзовых новых сапог или велосипеда. Старший брат в Карасуке даже в школу какое-то время ходил. А старшая сестра Лариска — ну что мне делать с ней, с девчонкой, в куклы играть или повторять уроки чистописания?

Вот и нашел я себе друга закадычного. Это был детдомовский жиган Феокист Бояринов, среди своих известный как Фетис Боярик.

Однажды Боярик серьезно сказал:

— Ты теперь мне как братан. Стопудово. И у меня, и у тебя — ни мамки, ни отца, ни проезжего молодца.

Мы и раньше с ним нередко мальчуганили вместе, а печальное это «родство» спаяло нашу дружбу еще сильнее: и в полях, и в бору пропадали ласковыми летними деньками, всевозможную подножную кормежку подметали. Особенно бор помогал наверстать недостачу питания. Неспроста на Руси говорилось когда-то: «Рядом с лесом жить — голодному не быть. Лес — богаче царя».

Кроме того, что в бору можно много чего отыскать для голодного брюха, — там еще много добра для поддержания духа: травы, цветы и деревья испокон веков овеяны легендами и сказками.

И втемяшилось мне в голову тогда — не от большого ума —

отыскать в бору цветущий папоротник. Сам бы я, наверно, не догадался — детдомовский жиган напел на ухо:

— Колдовская трава. Стопудово тебе говорю. Любые замки и засовы ломает.

— Не заливай. Как это трава может ломать железо?

— Слушай сюда! Алле! В один прекрасный летний день загремел я за решетку... Было дело...

— А за что тебя?

— За шкурку. За шкурку взяли и посадили. Тебе какая разница? Дело-то не в этом. Дело в том, что кенты, друганы мои, притащили колдовскую траву. А там решетки были — железные оглобли вдоль и поперек. И чо ты думаешь? Железяки эти сломались как солома.

Красивая сказка была. Я поверил.

— Вот бы нам найти траву такую!

— Найдем. Стопудово. — Голос у приятеля уверенный, твердый. Только высокий лоб его, в рукопашной детдомовской схватке давненько расхряпанный у переносицы, иногда как-то так морщился, будто Фетис вот-вот заплачет, хотя из камня проще выдавить слезу, чем из этого хлопца. — Найдем! — заверил он и панибратски треснул по плечу моему. — А знаешь, когда надобно искать? В ночь на Ивана Купалу.

— А когда эта ночь?

— Ну, ежли по старому стилю — 24 июня. А ежли по новому — 7 июля.

— А мы по каковскому будем искать?

Задумчиво глядя в сторону бора, жиган поцарапал свою грубую паклю пепельно-каштановых волос.

— Надо по старому. В июле ловить там нечего.

— Найдем и поедем?

— Поедем, конечно. Разве я брошу тебя, дружбана-братана? Я не из тех, кто может за три копейки скурвиться. Поедем и выручим мамку твою. А потом, если хочешь, рванем на Яровое озеро, где ты родился. Или в Славгород. — Детдомовский жиган головою удивленно покачал. — А ты ништяк придумал. Для маскировки, да?

— Чего? Кого?

— Так ты же сам намедни говорил: надо, дескать, было, чтоб тебя назвали Ярославгор. Яровое и Славгород. Да? Ништяк полу-

чилось. Ярославгор — это типа Святогор. Или дядька Черномор.

— Хватит зубоскалить. Лучше скажи, где мы деньги возьмем на поезд?

— Чудило. Лето на дворе. Мы поедем на крыше. Я катался так. Ништяк.

— С мамкой? На крыше? Ты чо, совсем уже?

Несколько мгновений детдомовский жиган бестолково смотрел на меня, а затем стал хохотать, как будто взрыдывать или похрюкивать по привычке своей:

— Мамка? Аха-хря-юю-хря! На крыше?.. Я не подумал про это.

— Он вытер слезинку-смешинку и сплюнул сквозь дырку в зубах.

— Ладно, я пошел. Дела.

— Погоди, а когда мы искать пойдём?

— Ну, сейчас-то еще рано. Не егози. Сходим обязательно. Только ты, гляди, не проболтайся никому, а то не будет никакого колдовства.

Время, как всегда, когда его торопишь, тянулось медленно. Ожидание давило, томило и мучило, лишая покоя, аппетита и сна. И верилось мне в ту волшебную травку, в папоротник, и сомнения одолевали. Как это может трава справиться с железными замками и засовами? Но все-таки вера, наивная вера в неокрепшей душе мальчугана сильнее сомнений.

И вот пришел июнь — учись да плюнь.

И мы отправились на поиски колдовской травы. До купальской ночи еще далековато, но детдомовский жиган, атаман в этом деле, тоном знатока сказал:

— Короче, план такой. Сначала днем найдем траву, заметим, где растет, а когда наступит ночка на Купалу, по-быстрому вернемся и сорвем.

На поиски пошли мы спозаранку, село еще дремало и петухи еще зарю не откукарекали.

Глава 3

Раннее утро солнце подросло над вершинами Касмалинского бора, и подросток этот русоголовый улыбнулся миру широкою,

блистательной улыбкой — окна в домах засверкали. Развеселились ласточки, шаловливым щебетом засевая утреннюю тишь. Под легким ветерком туманец распушился, похожий на пучки белоголовника, — белоснежный пух лениво растеребливался, повисая на заплатах, цепляясь за деревья, за углы амбаров, сараюшек. Белоснежный этот пух разметелило по всем переулкам и улицам, но особенно много — сырыми сугробами — возле реки.

Дорога вильнула хвостом и повела через мост, который в ту пору и мне, и многим другим сорванцам, казался довольно высоким, и чтобы в реку сигануть с бревенчатых перил моста, необходимо иметь за душой и отчаянье, и безрассудство, и дерзость. Все это имелось у меня — от буйного папы досталось, наверно. А может быть, перетекло по жилам еще из тех былинных и сказочных времен, когда гайдук молдавский или гайдук венгерский саблями размахивали на берегах Дуная или на просторах Бессарабии: не скоро еще захочется мне в родословной своей разбираться, изучать приливы и отливы крови исторической.

Река возле моста ослепительно и жарко отзеркаливала в те мгновения, когда солнце, спрятавшись за облаками, внезапно выходило вновь. И тут же зеркало реки снова гасло и под нажимом крепнущего ветра покрывалось рябью, похожей на стиральную доску.

В красноталовых кустах, кружевами на воду отбросивших тень, крахмальным голосом покрякали утки. Зеленоголовый селезень, речной пижон в козырной бархатной фуражке, за свою подружку ухлестывал: шумно бегал по воде, переступая красными лаптями и шуруя красочно раскрашенными крыльями, как веслами — вздымавшиеся брызги золотым рассыпом вспыхивали на солнце. Однако нырковая утка не давалась нахальному селезню — стремительно уходила под воду и делала там такие мудреные петли, что селезень снова и снова оказывался в дураках — не мог предугадать, где утка вынырнет. Но зато уж когда он поймал эту строптивую уточку, цапнул клювом за хохолок и взгромоздился на спину ее...

— Вот чо делает, падла! Нашел развлекаловку! — Подрубив ладонью яркий свет, Боярик ослабился. — Хоть бы людей постеснялся!

— Пошли. — Я потянул его за рукав. — Чего ты рот раззявил?

Если не ворона, так утка залетит.

— А ты чего? Чо ты покраснел, как красна девица?

— Да ничего я не покраснел.

Детдомовский жиган поддернул штанцы с пузырями на месте коленок, и нравоучительно заметил:

— Что естественно, то не безобразно. Ты с девками-то дружишь? Чо молчишь?

— Тебе какое дело? Ты трепаться будешь или мы пойдем?

Через несколько минут село осталось за спиной.

По туманам, разорвано плавающим по-над землей, миновали первую елань, вторую. Просторные эти прогалины — елани, разнотравьем поросшие, а по бокам сосняками обставленные, для местной ребятни и для парней постарше с приходом перволетья становились излюбленным местом для игрищ и разнообразных забав. Кое-где среди травы попадались черные круги, оставшиеся от костров. Деревянные рогульки, в землю вбитые, торчали, как чертики, — приспособления для перекладки, куда цеплялся чайник или другая посуда.

И вдруг попало то, что только в сказках водится.

Приятель мой, шагающий впереди, остановился на краю второй елани и громко, удивленно позвал:

— Иди сюда! Глянь!

— А чо там? Трава колдовская?

— Нет. Иди, посмотришь. Тут колобок.

— Колонок? Да откуда? Они тут не водятся. Дядя Ярма, сосед, мне рассказывал о колонках, на которых он в молодости где-то в тайге охотился.

— Тетеря глухая. Колобок тут! Колобок! Тот самый, на которого лиса охотится.

Боярик брехун еще тот. Я не поверил, но когда подошел — чуть не ахнул от изумления.

Круглолицый колобок лежал в траве, желтоватым боком навалившись на ромашку, блестящую брошкой росы. Добродушный тот колобок, будто бы из русской сказки прикатившийся, синие глазенки с длинными ресницами тарачил, красногубую улыбку растянул до ушей.

— Вот это да-а! — Я присвистнул и загревок поцарапал. — Откуда он взялся?

В первую минуту колобок мне представлялся живым, настоящим, и только потом, присев на корточки, я рассмотрел корявую подделку.

Колобком оказался светло-розовый резиновый мяч, на котором какой-то шутник намалевал симпатичную веселую рожицу — улыбающийся рот, брови, нос, глаза и уши.

— Ты от бабушки ушел и от дедушки ушел? — странно ласковым голосом заговорил детдомовский жиган, поднимая колобка. — А вот от меня не уйдешь.

— Перестань! — заорал я, угадав недобрые намеренья.

Но Фетис уже подбросил колобка и дал ему такого пинкаря — бедняга даже охнул, взмывая в небеса. Мелькая раскрашенной мордочкой, колобок полетел по широкой дуге и неожиданно шмякнулся на зеленые лапы ближайшей сосны, полежал там, покачиваясь, перепрыгнул на другую ветку, более густую, и затихарился, почти не видимый.

Фетис ошеломлено присвистнул:

— Хитрован какой, ты погляди. И от меня ушел. Ну, молодец.

Я не сдержался, вспылил:

— Дурак ты и не лечишься. Дать бы тебе самому такого пинка.

Или лучше по роже.

— А ты чего завелся? Я не понял.

— А того! Знаешь, как говорят? Козла нужно бояться спереди, конягу сзади, а дурака — со всех сторон.

Настроение было подпорчено. Шагая по дальнему краю притуманенной, росой облитой елани, я уже сожалел о своей взрывной, шальной горячности. Ведь если разобраться — Фетис отличный парень, сам помогать мне вызвался. А я что вытворяю? Обзываю с ног до головы.

Мне захотелось даже повиниться, чтобы он не раздумал дальше идти. Но Фетис — человек толстокожий, словами его не проймешь, да и кулаком проймет не каждый. Он беспечно топал рядом — кривогубой ухмылкой поигрывал.

— А чо ты надулся как мышь на крупу? Ну, это же мячик. Резина из магазина. Настоящего колобка я не ударил бы. Стопудово

тебе говорю. Настоящий колобок — это настоящий друг мой, товарищ и брат. Все как в этом, в кодексе «Кому нести чего куда». — И он расхохотался своим неподражаемым идиотским хохотом: — Аха-хря-юю-хря...

Дальше мы двигались молча, только птицы вокруг да около разводили свои тары-бары. Но Боярик в молчанку играть не привык — язык у него никогда не бывает на привязи. Вот про таких разговорчивых и придумана присказка: за твоим языком не поспеешь и босиком.

В засохшей грязи Боярик увидел глубокий отпечаток раскопытя.

— Сохатый, однако, протопал. Здоровенный бродяга. Рога, наверно, ого-го какие. У меня был охотничий нож из лосиного рога. Ну, то есть ручка.

— Пошли, а то получишь по рогам, — поторопил я.

Кто-то другой мог бы и обидеться на эту грубость, а Боярик только усмехнулся, понимая, что между нами опять установились мир, дружба и согласие.

Буреломы стали попадаться — ветровальные деревья с корнями, безобразно вывернутыми наизнанку. Будто какие-то чудища выходили навстречу — косматые, бородатые, многорукие и многолапые.

Солнце поминутно пропадало где-то за вершинами — длинные лучи соломенного цвета наискосок протыкались между хвойными ветками. И эта солома была настолько зримой, настолько осязаемой — хотелось подойти и наломать, связать хороший сноп и домой оттащить, чтобы там по вечерам вместо керосинки светилась бы вот эта бесплатная солома солнечная. А еще — это баба Луша мне рассказывала — можно в бирюльки поиграть: так на Руси в старину называлась игра с горкой соломы. Игра простецкая: кто больше вытянет соломинок из горки, не потревожив при этом другие.

— Ты там чо? Заснул? — издалека позвал Фетис. — Или идти передумал?

— Ну, вот еще! — пробормотал я, догоняя. — Лишь бы ты не передумал.

Сосняки на пути становились плотнее: они как будто норовили взяться за руки — за мохнатые лапы в шишковатых черных мо-

золях. Грибы все чаще выходили навстречу, приподнимали свои шляпы и раскланивались — так мне казалось. Тут и сыроежка, и масленок, и черно-бурый моховик, и подосиновик, и подберезовик. «Грибов ищут — по лесу рыщут!» — говорила баба Луша. А тут они сами гурьбой идут на нас...

— Может, наберем? Вон сколько тут!

Боярик посмотрел на изобилие грибов, удивленно покачал головой, но все же отбоярился командирским тоном:

— Отставить! У охотников есть такое старинное правило: пошел на волка — не отвлекайся на зайца.

Заросли кипрея неожиданно поднялись на пути — розовые свечки выше человеческого роста. Над свечками жужжали многочисленные пчелы, нехотя взлетали, потревоженные, воздух выбивали над головами нашими.

— Их тут целая туча! — заметил я, опасливо отстраняясь от пчелиного племени.

— А как ты хотел? Это ж король среди медоносов.

— Где? Какой король?

— Ну, кипрей вот этот. Иван-чай. Любит расти на пожарищах.

«А чо тут горело?» — хотел я спросить, но, присмотревшись, увидел под ногами черные сучья, а в стороне — два-три пенька, похожие на черных воронов.

Шагая дальше, мы наткнулись на огромные пУчки — полуметровые борщевики, сквозь которые надо продираться чуть ли не с топором.

— Люди любят борщ, а медведи любят вот такие борщевики, — сказал Боярик и с каким-то смачным хрустом обломил зеленую дудку борщевика. — Но голод не тетка и людям пришлось эту фигню полюбить.

И снова дружбан мой со знанием дела стал говорить о том, как в тридцатые годы, когда голодуха почти к спине приклеивала брюха, и во время войны, когда голод хватал людей за горло — эти пУчки за милую душу смолачивали.

— А ты откуда знаешь про войну, да про эти, про годы тридцатые?

— Старик один рассказывал. — Боярик проворно очистил зеленую дудку с шероховатыми гранями и с удовольствием схрум-

кал. — Жратовки тут навалом. Кислица есть. Кандык. Если чо — не пропадем.

— А долго нам еще идти?

— Так мы уже пришли. — Фетис шумно сплюнул зеленоватой слюной и посмотрел на боровое озеро, невдалеке сияющее солнечной дрожащей и слепящей мелюзгой. — Теперь, короче, так. Ты пойдешь туда, а я в другую сторону. Только будем идти вкруговую по берегу озера, чтобы не потеряться. Ты понял? Кто первый наткнется на папоротник — свистит. А встречаемся вон там, возле сухостоины. Гляди, не заблудись.

— Да ладно! — Я загорячился, руками замахал. — Знаю! Муравейники на юге, мох растет на севере...

— А папуасы водятся в Хренландии. — Жиган хохотнул. — Вот там и встретимся.

Глава 4

Боровое озеро — продолговатое, небольшое, в заводях, волосато заросших густою ряской, камышами и стрелолистом. Бронзовато-медные могучие сосны, отраженно опрокинутые, распластались на озерном зеркале. И отраженная птица, порой взлетающая как из-под воды, казалась какою-то необыкновенной летающей рыбиной. Про таких летающих недавно рассказал мне молодой волчихинский матросик, отслуживший на громадном корабле, бороздящем Тихий океан.

Впрочем, ротозейничать и любоваться некогда. Тропинку, а точнее, некое подобие, заросшее травой и цветами, нужно постоянно караулить, чтобы не треснуться лбом об сосну.

Из-под ног у меня то и дело вышмыгивали дрозды-рябинники. Упорно не желавшие взлетать, как будто уже разучившиеся, дрозды спасались бегством. Вот уж действительно: у каждой пташки — свои замашки.

Я поднял сучковатую палку, под руки подвернувшуюся, шарануть хотел по этим живым «городкам» — на улицах и на полянах во время игры в городки у меня хорошо получались удары: «пуш-

ку», «вилку» выбивал, «самолет», «колодец». Так неужели дрозда не выбью?

Хотелось шарахнуть, но я передумал. Зашибу, а толку-то? Дрозды сейчас худые, а вот по осени разжиреют, как чушки. Шурка прошлым сентябрем притащил из бора четырех дроздов — целый пир закатали...

Полуденное солнце, русалкой купающееся в озере, внезапно пропало — я спустился в низину. Сумрачно, сыро и тянет гнильцой, как в погребе.

Комарье в тишине зазвенело, запело камаринскую. Жирный карасина возле берега чмокнул губами — заглотил с поверхности что-то вкусненькое. Круги по воде покатались, размножаясь, разрастаясь оловянными кольцами, теряющими силу по мере разрастания. Изогнутое перышко гуся или утки белой легкой лодчонкой закачалось у берега.

Двигаясь дальше, я поскользнулся — на «шпагат» едва не сел, даже брюки треснули в промежности. Почва стала зыбкой, холодцеватой. И неприятно как-то, беспокойно кругом, впору назад вертануть. Но это, конечно, исключено. Только вперед. Именно в таких местах — труднодоступных, тревожных — произрастают колдовские травы. Надо идти, не бояться, не хлюздить. И хотя еще не скоро зацветет и в полночь вспыхнет заповедный жар-цветок — надо приметить местечко, чтобы потом впотьмах не шарахаться. Сейчас-то день-деньской. Кого бояться? Это в ночь на Ивана Купалу колдовской цветок будет стеречь какая-нибудь нечистая сила, будет мешать, с пути сбивать, страхолюдным филином станет хохотать, пугая смельчака и норовя в погибель завести. Это — потом. А сейчас наплевать. Мы не боимся никого и ничего. Так говорил детдомовский жиган, накручивал и вздрючивал меня перед походом. И зачем он только говорил? Накаркал, накликать беду.

Нечистая сила сбила меня с панталыку.

Раза два или три вкруговую обошел я, оббежал озерцо, но Фетиса нигде не увидел. Может, и с ним пошалила нечистая сила — увела от берега? Хотя навряд ли. Про таких как Фетис говорят: «Черт не возьмет его, а Богу не надо». Ну, а где же он тогда?

И тут я вспомнил про сухое дерево, где мы встретиться договорились.

Не помню, как долго «стоял на часах», терпеливо торчал у большой корявой сухостоины, топтался вокруг да около. Комаров кормил, чтоб не сказать поил своею кровушкой — столько их, паразитов, набросилось на дармовщинку. Теряя терпение, стал я звать друга — до хрипоты кричал, закидывая эхо в самые далекие урманы. Все бесполезно, без толку.

Воздух вечерел, густел. Солнечный свет среди сосен, золотою соломой казавшийся утром и днем, превратился в мякину, в пустую полову — серой трухой осыпался на воду, на землю.

Вдруг что-то пролетело, сверкая огоньками в сумеречном воздухе. Что это? Кто это? Птица? Только птица необычная — глаза угольками горят. Не птица, а какая-то ведьмачка. Или баба яга на метле.

Сухостойное дерево, много лет назад ужаленное молнией, торчало, как большая кость, до белизны березовой отбеленная ветрами, снегами, дождями. И туда, на самую вершину, опустилась птица-ведьмачка с глазами горящими. Потопталась там — сухая ветка хрустнула под лапами и обломилась. Крылья зашуршали в тишине — птица перепорхнула пониже. Глаза ее, страшно горящие, стали еще ближе. И я словно услышал голос бабы Луши: «Страху в глаза гляди, не смигни, а смигнешь — пропадешь!»

Я смигнул и в тот же миг страх покоробил спину, а по сердцу будто бы крапивой жиганули. И тут же в груди захолонуло — птица опять перепорхнула, еще ниже. Она приближалась и сумрачный воздух становился горячим от ее раскаленного и жуткого пучеглазия.

Попятившись, я обо что-то запнулся и, взмахнув руками, шваркнулся так, что осинка, рядом растущая, пугливо задрожала. Вскрикнув от боли, подскочил, как на пружинах, и припустил, неведомо куда...

Глава 5

Болото закатным светом слабенько поблескивало. Трясина курилась гнилыми дымками. На краю болотины стрелы камыша

торчали не шелохнувшись в полнейшем безветрии. Кувшинки белым звездоцветом там и тут разлаписто лежали на воде чернильного цвета.

И хотя мне было не до веселья — все-таки не мог не улыбнуться, наблюдая за двумя куликами. На спичечных своих ножонках они по тугой трясине стремительно бегали в разные стороны, а когда встречались — потешно кланялись друг другу и словно бы расшаркивались, чтобы тут же снова разбежаться по своим делам.

Пытаясь обойти губительные окна чарусы, я покружил, прыгал с кочки на кочку и скорее убедился в том, что попал в западню — кругом противный холодец, под ногами трясущийся, куда ни ступи.

От непроходимости болота и от своей непроходимой глупости — поверил сказкам о какой-то колдовской траве — стало грустно, одиноко и плачевно. Господи! Ну, когда только я повзрослею? Ну, почему бы кусок хлеба с собою не прихватить? В животе уже так разбурчалось, будто кошка с собакой грызутся. Хлеб в дороге не помеха, баба Луша говорила много раз.

Закат над вершинами бора желто-красным пером распушился. Из болотной глубины наносило неприятно пахнущей прохладцей. В тишине пригрезилось жужжание бекаса на болоте, хотя, скорей всего, это запоздалая пчела или шмель воздух продырявил где-то поблизости. Лупоглазая лягуха плюхалась в мочажине, слабо окрашенной последним отблеском. Тихо кругом, очень тихо. Только дятел на краю поляны башкою об сосну колотился — тоже, видать, заблудился.

Кулик-перевозчик по рыхлой болотной растительности прострочил. Ненадолго замер, покосился блестящими бусинками глаз, что-то сказал на своем языке и дальше проворно почапал, время от времени останавливаясь и длинным клювом тыча в зеленую мочалку перепутанной травы.

— Кулик-перевозчик! — заблажил я, сам того не ожидая. — Перевези на ту сторону!

Глупо, конечно: кого эта пичуга может перевезти? Разве только муху, жука да лягуху или что-то подобное.

Отчаянный крик мой ударился о деревья на краю болота и разлетелся звонкими осколками — эхо загуляло в сосняках.

И вдруг в тихо-сонном бору затрещало что-то, точно огромное дерево рухнуло. Затем шаги послышались, тяжелые шаги, не человечесьи — пудовыми лапами кто-то зловеще захрустел по хворосту.

«Вот она, сила нечистая! — горячо мелькнуло в мозгах. — Вот она, погибель!»

Из голубого предвечернего тумана появился леший — человек с лошадиной башкой.

У страха глаза велики — вот почему я увидел такую картину. Хотя на самом деле было вот что: человек, стоящий на краю болота, лошадь держал под уздцы.

На выручку пришел лесник из Волчихинского районного лесничества, Алексей Иваныч Ломаломский. Говорили, будто его прадед умел через колено ломы ломать, завязывать узлом, вот почему фамилия такая.

Дядю Лёшу этого я стану дядей Лёшим называть с той поры, как мы встретились на боровом погибельном болоте. Хотя на лучшего лесник не походил — никаких страшилок и ужасиков у дяди Лёши не было. Ни косматых бровей, колючим бурьяном нависающих над сурово-леденящими глазами, о которых пишут в сказках. Ни буйной бородачи до пупа и даже до земли. Ничего подобного. Это был крепко сбитый и ладно скроенный симпатичный русский человек с открытым бесхитростным взглядом, но твердым характером: недаром на лице заметно выделялся гладко бритый, увесистый подбородок, глядя на который можно понять — за таким человеком ты будешь как за каменной стеной. Но прежде всего на леснике выделялась форма — завидная, редкая штука по тем временам. На темно-синей фуражке с зеленой прострочкой сверху и посередине — над большим лакированным козырьком — золотоцветом горела эмблема лесничества. И на зеленых петлицах, и на рукавах темно-синего френча солнцем горели такие же золотоцветы. А если погодка была хмуробровая, дождем грозила — на плечах лесника шуршал добротный плащ, кое-где прострелянный угольками костров. Короче говоря, лесник тот больше был похож на капитана, смело идущего в «зеленое море тайги», о котором нередко в те годы жизнерадостно пело советское радио.

Дядя Лёша в тот вечер едва ли не за ухо выволок меня из болота.

— Наш Фрол не туда забрел! — усмехнулся лесник, топоча сапогами, чтобы отрясти грязюку. — Чего ты забыл тут? Лягушек ловил на пропитание? Ну, пошли.

Неподалеку стояла коняга, запряженная в телегу. Это она, гривастая, мосластая, подкованными лапами недавно так тяжело и угрозяливо хрустела по хворосту.

Боровой кордон, куда приехали, представлял собой дощатую избушку, поставленную только для того, чтобы спокойно летовать два-три месяца в году. Около избушки аккуратно сложен прясельник — тонкие ошкуренные жерди, пригодные для прясла. Под навесом — поленница.

Лесник расхомутил конягу и заарканил, отпуская на выпас — длинная веревка позволяла бродить по поляне и до ручья.

Вода, тихонько поющая под берегом, покраснела от закатного жара и постепенно «обуглилась». Солнце, ломая остатки лучей над вершинами бора, уменьшаясь до капли раскаленного смолья, мягко сползало куда-то в непроглядные урманы.

Я обратил внимание на птиц: расселись на ближайшем дереве, клювы наострили в одну сторону.

— Жди ветра, — сказал дядя Лёший, тоже поглядев на птиц.

А кругом тишина, даже лист на осине, стоящей неподалеку, ухом не поведет.

— Ветра ждать? Почему?

— Примета. — Дядя Лёший палец приподнял. — Слышишь, как лягушки стали громко квакать?

— Ну, слышу.

— А ты не понукай, поскольку не запряг. — Дядя Лёший улыбнулся. — Лягушки так громко разговаривают перед грозой. Да и лошадь фыркает — к дождю.

— Да? А небо чистое.

— Вот мы и проверим примету. Ладно, айда ночевать.

В избушке было сумеречно, таинственно и загадочно. Дядя Лёший керосиновую лампу запалил и мне почудился кудлатый домовый, сидящий на печке и стремглав исчезнувший где-то в углу за железной трубой, обложенной кусками асбеста — противопожарная штукавина.

«Домовой, не домовой, но домовенок здесь точно живет! — подумалось мне. — Избушка-то будто из сказки пришла. Такие избушки умеют к лесу передом встать, к людям — задом или наоборот...»

Причудливые тени по стенам зашарахались, криво и косо поплыли по потолку. Озарился камелек, сбитый из половинок бросовых бурых кирпичей. Желто-красный букетик, стоящий на грубом дощатом столе, откинул такую большую мохнатую тень, словно баба яга на метле пролетела. Букетик тут, похоже, давненько красовался — лепестками и цветочной перхотью насорил на край стола и на пол.

Первым делом дядя Леший дал сухую одежду.

— Ну как, солдат? Не жмет? — насмешливо спросил, глядя на меня, по самые уши утонувшего в застиранной гимнастерке. — Сейчас затопим, чай вскипятим.

Крепкими руками, способными ломы ломать, дядя Лёша помуржил, помял затрещавший кусок бересты — получился эдакий берестяной снежок.

В печи после розжига повеселело, блики запорхали, озаряя скуластое лицо лесника, словно бы отяжеленное увесистым подбородком. Когда лесник полено в печь толкал, оттуда чуть не выпрыгнул пунцовый уголек, неожиданно громко и весло щелкнув. Уголек напомнил мне кое о чем.

— А бывают птицы с горящими глазами?

Дядя Лёша печь закрыл — дверца ржаво скрипнула.

— Бывают. Огнеглазки какие-то есть, говорят. Только они тут не водятся. Это в Африке где-то.

— А большие они? Огне... глазки.

— Махонькие. А зачем тебе?

— Видел тут одну. Только она большая, на глухаря похожая.

— У глухаря нормальный глаз. Только брови кровью наливаются, да и то весной, когда он токует без ума, без памяти. — Дядя Лёша, сидя у печи, задумался, глядя в окно. — И вот именно тогда, во время пения, можно к нему подобраться и подстрелить. Что за охота? Понять не могу. Глухарь поет, подружку милую зовет, а кто-то, мать его за ногу, по-воровски подкрался и шарахнул. И доволен. Домой принесет глухаря, радужным пером одетого, на букет цветов похожего. Хозяйка общиплет, обсмывает, сварит

мяса на два килограмма. Сожрут. Икнут. Собакам недоедки выкинут. И все. Управились они. А сколько бы глухарь тот пел еще, сколько бы людей еще порадовал. — Помолчав, дядя Лёша ладню хлопнул по своей груди. — Лично мне тихая охота по душе.

— А это какая такая охота?

— А это когда собираешь грибы да ягоды, шишки и прочее. «Тихая охота» называется. — Дядя Лёша встал, вздохнул. — Ну, ладно. Чай вскипел. Тебя как звать-то, парень?

И тут я зачем-то назвал свое второе имя:

— Ярославгор.

— Ишь ты, как мудроно. Это чо? Как по-русски будет?

— Славка, значит.

Лесник помолчал, головой покачал.

— Мамка, однако, потеряла тебя. Слышишь, Славка? Чо молчишь?

— Не потеряла. Мамки нет.

— А папка?

— И папки нет.

— Во как! Из детдома, что ли?

— Нет. Мы с бабушкой живем.

В углу лежал косматый старый полушубок, а мне вдруг показалось — шкура медведя.

«Ага! — пронеслось в голове. — Глухаря ему жалко! А сам чо делает?!»

Неуютно стало, беспокойно. И сучья изредка постреливали в печке, словно отдаленные ружейные. И дядя Лёша все больше становился странным каким-то, пугающим. С одной стороны лицо его озарено огоньком керосиновой лампы, а с другой — только глаз поблескивал ледышкой, а вполне нормальный нос казался невероятно большим, горбатым. В общем, он сделался страшно похожим на космача-лешака, заманившего к себе ребятенка, чтобы в печке зажарить или слопать сырым. И даже расспросы казались теперь подозрительными.

— С бабушкой живете, говоришь? А где же родители? Померли?

«Вот зачем он это спрашивает? — подумал я, поеживаясь. — А затем, что родители меня искать не будут, если их нету. Значит, можно смело жарить или жрать сырым».

— Нет! — Я едва не крикнул от волнения. — Родители живые! Папка наш в Карасуке на паровозе работает. А мамка в этом, в Барнауле. Мамку цыгане забрали.

Дядя Леший в недоумении бровями задвигал. Причем задвигал как-то не по-человечески — одна из бровей опустилась под глаз, а другая залезла под козырек форменной фуражки с причудливым золотоцветом. Это была игра теней, как понял я чуть позднее, а в ту минуту перепугался.

— Цыгане забрали? Зачем? — удивился дядя Леший, поправляя кепку и тем самым возвращая бровь на место.

— Не знаю. Баба Луша так сказала. — Я посмотрел на подоконник, где растопорщились три-четыре сухие сосновые шишки, похожие на крохотных ежат. — А правда, что цыгане всех ежей переловили и поели в нашем бору?

Лесник развеселился: улыбка наморщинула скуластое лицо и проступила даже в уголочках глаз со стороны висков.

— Нет, ежей не всех еще поели, один остался, я сегодня повстречал на дороге.

— А медведя где ты встретил, дядя Лёша?

— Какого медведя?

— А вот того, которого убил. — Я потыкал пальцем в угол, где лежала шкура, в свете керосинки буроватая, будто кровью забрызганная.

И теперь уже лесник не просто развеселился — захохотал, заставляя пламя в керосинке задрожать.

— Это? — спросил он, бросая мне под ноги старый полушубок. — Это шкура неубитого медведя, который был бараном. Или овечкой.

Поначалу мне стало неловко от того, что возвел напраслину. А потом от души отлегло, и тревога постепенно улетучилась: дядя Леший снова сделался нормальным дядей Лёшей.

Он подбросил в камелек еще два-три полешка. В раскрытую дверцу видать, как смола постепенно вскипает и ползает золотыми жуками. Медовым ароматом дышат подсыхающие травы, на шпагате развешанные за печкой. А в дальнем углу распузатился какой-то мешок, тоже сперва смутивший меня непонятным своим содержанием. Но оказалось — мешок под завязку набит сосновыми шишками.

— Скучен день до вечера, коли делать нечего, — разговорился дядя Лёша, — вот лесхоз и не дает нам заскучать, заставляет лесников собирать ягоды, грибы и шишки. И ты сегодня тоже, я гляжу, нашел.

— Кого? Чего?

— Ну, шишка-то на лбу. Где отыскал такую?

— Места надо знать.

Мы посмеялись.

Разговорившись, дядя Лёша немало интересного поведал.

— Наш ленточный бор, он особенный. Шишки тут раза в два крупнее, чем в других борах. Или вот, к примеру, взять хвою. На обыкновенной сосне хвоя два-три года держится, а на сосне, которая в ленточном бору, хвоя растет семь-восемь лет. Почему? Не знаю. Видно, водичка тут была особая. Мудрецы-ученые из Барнаула и даже академик из Москвы несколько лет назад гостили тут. И рассказали они мне историю, похожую на сказку о ленточных борах. Сто тысяч лет назад тут громоздились ледники, до неба доставали. А затем пришло на Землю потепление. Ледники отсюда стали отползать — бороздили наши степи алтайские. И там, в этих здоровенных бороздах, оставляли талую водицу, кристально чистую. Вот на этой водичке-то и на песке поднялись наши ленточные боры.

За окошком стемнело — будто черной телью занавесили. Налетающий ветер ворошил деревья, стоящие неподалеку — хвойная лапа изредка похлопывала по дощатой крыше, как похлопывают друга по плечу. Затем стал накрапывать дождичек — капли тараканами в потемках зашуршали.

— Вот тебе и приметы! — вспомнил дядя Лёша. — Лягушки-то, выходит, квакали не зря. Ну, что, солдат? Согрелся?

Усмехнувшись, я погладил гимнастерку на груди и сказал, подражая Боярику:

— Ништяк! — И только тогда спохватился, спросил: — А вы не встречали парнишку в бору?

— Какого парнишку?

— Да он такой приметный — вся рожа набок.

Широкая, до коренных зубов скользнувшая улыбка озарила лицо лесника.

— Не встречал. А кто это?

— Да ладно, раз не видели.

— Не думаю, что ладно. — Лесник внезапно посуровел. — Не ладно и нескладно получается. Бабушка твоя с ума, наверно, сходит. По улицам бегают, ищут.

Лесник растравил мою душу. Фантазия взыграла всеми красками: представил, что теперь творится в нашем доме, как там баба Луша мечется, волосы рвет, а сестра-синеглазка в слезах, в угол забилась и воет, и, может быть, Шурка уже приехал из Карасука, нагостился у отца и мачехи.

Готовый разругаться от этих фантазий, я соскочил с табуретки так, что она упала, грохоча.

— Дядя Лёша! — Стал я канючить. — Поедем, дядя Лёша! А? Поедем! Ну, что вам стоит!

Он помолчал, желваками подвигал. Посмотрел на черное окно, по которому изредка молоком плескала ущербная луна, все никак не могла разлунявиться в облаках над вершинами бора.

— Куда в потемках ехать-то? Голову свернем. Да к тому же погода — не сахар. Так что, как говорится, присядем на колоду, переждем погоду.

И по крыше, и по стеклам барабанило все чаще и все громче — крупнокапельный дождь перерастал в ходором ходящий хлесткий ливень. Деревья за стенкой роптали. Хвоинки, ветром сбритые, прилипали к сырому стеклу и медленно, витиевато оплавлялись в дождевых ручейках. Бабахнул гром. Керосинка на столе моргнула желтым глазом. Зашабуршала трава, сушившаяся в углу за печкой. Сухой лепесток, похожий на мотылька, закружился и упал на красновато накаленную чугунную плиту — к потолку потянулась паутина синего дымка, запахло сладковатым и горелым. Затем еще раз и еще гром по земле шарахнул незримою дубиной, и где-то за деревьями послышалось раскатистое ржание коня.

Я закимарил под шум дождя — это самая лучшая в мире колыбельная песня. А потом до меня долетел чей-то далекий вкрадчивый голос:

— Так зачем же ты поперся в такую глушь? Чо молчишь? Заснул?

Укрытый телогрейкою на деревянных нарах, разомлевший от тепла и уюта, я и сам не заметил, как проболтался:

— Мне надо папоротник найти.

— Папоротник? Здравсте! Его тут — хоть косою коси.

— Мне надо не простой. Волшебный папоротник. Тот, который цветет на Ивана Купалу. Он может мамку спасти.

Выслушав тихий лирический бред, дядя Леший обескуражено головой покачал.

— Это кто же тебя надоумил?

— Никто. Партизаны своих не сдают.

— И правильно делают. — Лесник улыбнулся. — Ну, поспи, партизан, отдохни. Под шумок дождя-то хорошо.

Глава 6

Я внезапно проснулся поближе к рассвету — будто шильцем ширнули под ребра. И в первую секунду, когда открыл глаза, я успел заметить кудлатого домового — то бишь, домовенка, того самого, которого заметил сразу, как только мы с дядей Лёшей зашли в эту избушку. Домовенок был действительно вооружен каким-то шильцем, серебристо сверкающим в мохнатой руке.

Протерев глаза, я никакого домовенка рядом с собой не увидел, но под ребрами было щекотно после укола.

Воровато поднявшись, я огляделся. В избушке глухотемень, только сбоку квадратная прорубь окна потихоньку наливается голубизной. Ледышки созвездий искрятся в той проруби, проступают очертания деревьев.

Дядя Леший спал без задних ног в дальнем углу на нарах, застеленных каким-то веретьем. Здоровенные «задние ноги» его — кирзачи с подковками — стояли в раскоряку на полу.

Сыромятная узда, тускло сверкающая удилами и многоточием металлических бляшек, висела на гвозде у старой ободверины. Я взять хотел, конягу обротать, но засомневался и раздумал — вряд ли это дело у меня получится. Пешкодралом пойду, налегке.

За порогом зябко и туманисто. Я передернул плечами и ощутил в душе предательскую слабость. Мне как-то вдруг расхотелось шарaborиться по утреннему бору, увешанному гроздьями вчерашнего дождя: только тронешь ветку — за ши-

ворот обрушится полведерка студеного неба. Но пришлось пересилить свое слабоволие. Надо идти, надо проверить то местечко, на которое дядя Леший вчера намекнул. Леший — хозяин в бору, знает, где и что. Конечно, он немало всякого добра приберегает для себя, но вчера проболтался. Кто много говорит — проговорится.

Луна, с нижнего края обкусанная, точно краюха белого хлеба, то пропадала за деревьями, то навстречу выкатывалась. Во время ходьбы я согрелся и повеселел.

А вот и приметный ручей. И дерево — тоже приметное. Где-то здесь должно быть. Неужто обманул?

И тут по мгле за соснами что-то мигнуло, вспыхнуло красно-желтым зрачком, погасло и опять поманило...

Значит, все верно. Дядя Леший правду говорил.

Скоро я нашел цветущий папоротник, и так же скоро сел на крышу вагона скорого поезда, чтобы поехать туда, где мамка. И вдруг, откуда ни возьмись, — милиционер. Хватъ меня за ухо — сдернул с крыши пассажирского вагона и зарычал:

— Кто такой?

— Ярославгор.

— Не врать.

— Я не вру. Я родился на Яровом, а в метриках записано — Славгород. Вот почему зовут меня — Ярославгор.

— Логично вообще-то, — согласился милиционер, почесав за ухом, — только на крышах ездить все равно нельзя, хоть Ярославгор ты, хоть Святогор, хоть дядька Черномор.

— Я больше не буду.

— Ясное дело — не будешь. Сейчас в кутузку посажу, и ты не будешь.

— Не хочу в кутузку.

— А никто не хочет. Все думают, что их чаша сия минует. Ан да нет. Милиция не дремлет, товарищ Ярославгор или как там тебя? Короче, вставай, собирайся.

Суровый дядька милиционер стал грубо трясти за плечо. Крепкие пальцы его, будто клещи, коротко, но больно защемили кожу.

Простонав, я веки с трудом разлепил.

Подслеповато промаргиваясь, ошалело смотрел, как сквозь

мутную воду — так бывает, когда занырнешь в глубину и глаза растопыришь.

В мутной воде предрассветья передо мною плавала какая-то темная здоровенная рыбина, за которой виднелась голубоватая прорубь окна.

— Нет, — пробормотал я, — не поеду.

Рыбина остановилась, развела плавниками-руками.

— Вот тебе раз. А кто меня вчера чуть не погнал по темноте? Кто говорил, там баба плачет, внука потеряла? Вставай, вставай. Поедем. Слышишь, Славка? Карета подана.

«Ага! — обрадовался я. — Значит, это не мильтон. А кто? Куда это черти меня занесли?»

Избушка представлялась уже не загадочной и не таинственной — не то, что вечером при свете керосинки, при тенях, причудливо бродивших, как бродят постены, то бишь, привидения. И никакого домового или домовенка тут не было, и нет. Теперь все тут буднично: вон там небольшая карта Волчихинского лесничества на стене, а вон там прищпандорены какие-то казенные инструкции, постановления, указивки. Оконное стекло, облизанное ветром, еще хранит несколько крупных капель дождевых. Рыжевато-серая хвоинка прилипла посередке влажного стекла.

И вдруг я вспомнил: на соснах ленточного бора иголки держатся гораздо дольше, чем на соснах в любом другом бору. Откуда мне это известно? Или это мне вчера дядя Леший говорил? Хотя какая разница. Поспать бы еще. Печку протопить бы, раскочегарить хорошенько и поспать.

Простуда забиралась в мое тело, о чем я пока не догадывался — вчерашний поход по болоту сказался. Хвороба, еще несмелая, проникла все глубже. Вот почему окружающий мир становился неинтересным, скучным, тусклым. Хвороба незаметненько, по крошке и по капле, отравляла организм, гасила в душе простые житейские радости. И то, что вчера вызывало улыбку — теперь пробуждало уныние.

Я лениво собрался, ощущая легкое головокружение.

Дверь в избушке, затворяясь, ржавовато скрипнула.

— А где же замок? — Я глазами полупал. — О! Тут даже нету пробоя.

— А зачем? — Лесник пожал плечами. — От кого закрывать? От сохатого, что ли?

— Ну, мало ли...

— Нет, паря, нет. В горах да в борах избушки никогда не закрываются. Заходи и живи, только будь человеком, не пакости. — Лесник приставил палку, чтоб дверь под ветром не расхлебенилась. — Вот такой у нас замок. Крепче некуда.

Поползень, будто серая мышь, проворно семенил по сосне, стоящей неподалеку, то и дело останавливался и что-то выклевывал из коричневатого-красного корья.

Мы прошагали около сосны, и поползень взлетел, будто в летучую мышь превратился, только размером намного меньше.

Глазами проводив стремительно порхающего поползня, лесник широкою натруженной ладонью, будто грабаркой, отогнал от себя комарье, внезапно зароившееся перед лицом.

— Стало быть, погодка будет хорошая, — определил он по комариному рою. — Надо заняться покосами.

Лошадь в оглоблях покорно ждала на поляне перед избушкой, пучок травы дожевывала, изредка встряхивая головой — овод окаянный докучал. В такой раноутренний час захомутали лошадь из-за меня, и поэтому она теперь стояла с печальным выражением лица и, не скрывая укора, смотрела на виновника ранней побудки. В глазном фиолетовом яблоке лошади поблескивали зернышки рассвета, встающего из глубины Касмалинского бора.

Лесник достал чумазое ведро, крышку снял — струя вонючей гари потянулась по чистому воздуху.

— Ты, паря, думаешь в бору только грибы да ягоды можно собирать? А вот это что? — Лесник почти под нос мне ведро подsunул и засмеялся, глядя, как бедолагу перекособочило. — Не нравится? А вещь хорошая. Это сосновый деготь. Древесная смола. Телегу можно смазывать. Обутки. Мыло дегтярное делают из него. Лишай можно лечить. Даже в мясо деготь добавляют. Для скусу, так сказать.

— А на хлеб не намазывают?

И снова лесник засмеялся.

— Надо попробовать. А пока я втулку на переднем колесе этой кашей покормлю. Что-то она заныла, ухо мне царапает. Передние

колеса в телеге — это самое главное. А знаешь, почему? Передние колеса лошадь везет, а задние сами катятся. Ха-ха. Ну, ты пока усаживайся. Можешь подремать под телогрейкой. Я специально для тебя прихватил.

Втулку покормил он хорошо — перестала ныть, судя по тому, что под колесьями, когда мы поехали, только песок шептался, да шишки иногда потрескивали.

Солнце, разгораясь, яркими лучами вламывалось в бор — там и тут поляны и полянки вспыхивали, будто сундуки, с которых сбили крышки и в траву опрокинули чертову уйму жемчугов да брильянтов, за ночь награбленных соловьями-разбойниками.

Дорогу знающая лошадь, не нуждающаяся в понукании, вскоре вышла на просвет сосновой просеки и телега покатила бойчей, изредка подпрыгивая на узловатых корнях, прошнуровавших дорогу: извиристо-черные корневые щупальца огромных сосен с годами почти всегда на поверхность выныривают.

Иногда на пригорках случалось так, что лошадь кованым копытом попадала на влажный корень и пробуксовывала то одной ногою, то другой, и при этом так выразительно косила глазом, будто хотела сказать: «Ну, что же вы хотите? Такая скользкота!»

Глава 7

Крыши села показались вдали, точно белые грузди среди сосняков. Умытое дождем и вытертое ветром, село уже проснулось, солнечно помаргивая глазами окон. Петухи базлали по дворам, раскатывая эхо в соснах. Где-то звякала колодезная цепь, а где-то во дворе хозяин колуном уже размахивал, чурки на поленья шинковал, подтверждая верность поговорки: хороший хозяин одним глазом спит.

Многочисленное стадо, взмыкивая, а иногда и взбрыкивая, уходило на выпас, брякая боталами, тилилика колокольцами, успело изрядно ископытить влажную дорогу и даже заминировать — свежие лепехи там и тут.

Баба Луша, бледная после бессонницы, с голубоватыми провалами в подглазьях, ждала возле ворот. Должно быть,

еще в окно увидела телегу и поспешила навстречу своему драгоценному внуку, о котором всю ночь убивалась, керосин палила почем зря.

В руке у бабы Луши, сверкая, как сабля, подрагивал красноталовый прут, которым она отгоняла серую курицу, бродившую неподалеку. Хотя предназначался прут, конечно, не для курицы.

Поправляя фуражку с эмблемою-золотоцветом, дядя Лёша наклонился ко мне.

— Как бабушку-то звать? — Он подмигнул. — Крепись, казак.

Коняга фыркнула возле ворот и встала, кося фиолетовым глазом, будто желая укорить парнишку: из-за тебя, мол, босяка несчастного, пришлось в такую рань тащиться.

— С добрым утром, Захаровна! — Лесник фуражку приподнял в знак уважения.

— Вот уж доброе так доброе, — сдержано ответствовала бабушка, помахивая хворостиной.

— Захаровна, ты не шибко ругай. Славка ваш, он же хотел, как лучше...

— Славка? Какой такой Славка?

Лесник растерялся, рукой показал:

— Ну, вот этот.

— Это — Колька. — Помолчав, баба Луша будто что-то вспомнила и с чем-то согласилась: — Ну, слава тебе, господи, и слава тебе, Славка. Приехал. Осчастливил. Это где же записать нам такую радость?

Сердечко жарко екнуло в моей груди. Только теперь, когда увидел бабушку, до меня в полной мере стало доходить, какой тут разгорелся переполох, сколько страху натерпелась баба Луша, бегая по улицам, по оврагам и среди сосняков на околице, выискивая внука своего — живого или мертвого.

Трагические складки возле рта Лукерьи Захаровны давненько сложились по причине «развеселой» житухи, но за эту ночь складки обозначились еще сильнее, отчетливей. Выбегая из уголков сухих и полноватых губ, говорящих о покладистом характере, который дан был Богом изначально, трагические бабушкины складки за ночь нервотрепки глубоко прорезались по обе стороны небольшого, но крепкого подбородка.

Лесник тем временем телегу развернул — узкая кривая колея змеею крутанулась на сырой земле.

— Захаровна, — сказал на прощанье, — парнишка хотел свою мамку спасти, так что не казни.

— Да что ты, что ты! — ласковым, будто на меду настоящем голосочком ответила бабушка, с головы до ног осматривая внука и убеждаясь в его целостности и сохранности. — Зачем же я стану казнить? Бог видит, кто кого обидит. Мы его поставим на божничку. Молиться будем на него, на красавчика нашего.

Изорванный в бору, изгвазданный в болоте красавчик тот стоял, ни на кого не глядя, дрожащим пальцем скоблил на рубахе сухое грязцо, похожее на красновато-бурую сургучную печать.

Заскрипели колеса, копыта затопали — телега дяди Лёши уколесила.

Тупо глядя в землю, я постоял, постоял, и обреченно поплелся во двор.

Молиться не молились на меня, но раза три-четыре перекрестили тонкой, соловьем свистящей хворостиной.

— Вот погоди, — пришептывала бабушка, готовая заплакать, — вернется мать...

А неподалеку, настороженно, сочувственно зыряка, стояла сестра-синеглазка. Исподлобья наблюдая за экзекуцией, Лариска дергала щекой и морщилась при каждом ударе. Для нее это тоже был хороший, хотя и бесплатный урок: на чужих ошибках-то хорошо учиться.

Лукерья Захаровна водицы нагрела, отмыла поросенка-внучонка, отстирала одежду и посадила под домашний арест: лихоманку на болоте подхватил внучок, несколько дней провалялся в жару.

Глава 8

И жуткие, и чудные видения в бреду меня преследовали. Откуда-то нагрянули цыгане: окружают нашу самануху белосахарную, забирают мамку и увозят по степной дороге. Увозят на телеге, запряженной не русской тройкой, а тремя лохматыми, громадными, на коней похожими медведями, растрясаящими

звон задорных бубенцов и перезвоны мелких колокольчиков. И тут в степи — навстречу странной тройке — поднялся шумный вихорь. Пройдя по бездорожью, вихорь внезапно превратился в нашего отца, которого бабушка называла не Виктор Прокопыч — Вихорь Потопыч. Свистя и улюлюкая, Вихорь Потопыч воду закружил на озере, мимо которого мчалась тройка медведей. И взволновалось озеро, и выплеснулось, преграждая дорогу цыганам. Телега с мамкой забуксовала в густой грязюке. И туман, густоющий, как сметана, медленно поднялся над степями, засметанился по балкам и оврагам. И в этой сметане пропали цыгане, и Вихорь Потопыч куда-то исчез.

Или вдруг я видел самого себя — иду среди сосен в глуши Касмалинского бора, колдовской цветок ищущий в ночь на Ивана Купалу. Нашел, обрадовался. Но тут опять цыгане появились, хотят забрать находку драгоценную, золотом горящую впотьмах. Однако на помощь приходит лесник дядя Лёша. Перекувыркнувшись в воздухе, он становится вдруг самым натуральным лешаком: бородатый, косматый, как туча, громоподобно хохочущий, дядя Леший играючи столетнюю сосну с корнями выдрал и над головою раскрутил, разгоняя цыганское племя.

Во время подобных бредовых видений — как позднее выяснилось — разболтал я секрет, касавшийся колдовского цветка, способного открывать любые замки и засовы. И после этого баба Луша смягчилась душою и сердцем, и, наверно, даже горько сожалела и раскаивалась насчет хворостины, которая давеча ниже спины несколько раз жиганула меня.

Подобрела баба Луша — принесла жестяную, блеклыми цветочками размалеванную бонбоньерку, изготовленную в виде сундучка. Там хранились копеечные, в общем-то, конфеты, которые казались дивным лакомством, поскольку выдавались только по праздникам. А еще там были петушки на палочках, розовато-прозрачные, огненно-малиновые, небольшие петушки, но такие славные, такие сладкогорлые — вот-вот закукарекают, размахивая крыльями.

— На-ка, внучек, погрызи. — Баба Луша протянула петушка. — Ну, бери, бери, пока не улетел.

Я почуял слабину в настроении бабушки и догадался — можно покапризничать.

— Сама грызи.

Оставив бонбоньерку в изголовье, баба Луша чаю принесла.

— Вот, попей с малиной.

— Не хочу.

— Господи! — Она всплеснула руками — На него опять бычок нашел!

— Чего? — Я посмотрел по сторонам. — Какой бычок?

— Заупрявился опять. Как тот бычок колхозный. Не хочу да не хочу. Заладил. А лечиться-то надо. Попей.

— Не надо. Пей сама.

— Я не хвораю.

— А я хвораю и помру, так будешь знать.

— Да ты уж мамку-то дождись. — Баба Луша лоб мой потрогала. — Нету? Жару-то.

— В печке твой жар.

Терпение у бабушки заканчивалось.

— Хватит выкомурить, пока я хворостину не взяла. Пей, говорю. А то соседа кликну, он дядька-то здоровый, свяжем тебя и зальем полведра, как в самовар.

Невольная улыбка тронула губы мои, обметанные недавним жаром. Я отхлебнул целебного отвара и спросил:

— А кто там приходил? Какой-то голос был во дворе.

— Жиган твой преподобный.

— А пошто не пустила?

— А кого бы он тут делал? Ты лежишь — ни тяти ни мамы. Бор-мочешь, как пьяный мужик под забором.

— Могу теперь и встать. — Я снова с трудом улыбнулся. — Во! Видишь? Ходить могу и бегать.

— Только до ветру, — строго наказала бабушка, — дальше не надо покуда.

Посмотрев на сырое окно, я подумал, что дальше-то и не помянит.

Дожди наладились. Гром над землею катался на громоздкой телеге, молния моргала то вблизи, то вдали. Тучи наседали на поля, на вершины бора. В доме становилось морочно — даже днем иногда керосинку приходилось палить.

Глава 9

Пути-дороги наши с дядей Лёшей-лесником долгонько не пересекались, но если на роду тебе написано, если тебе с кем-то или с чем-то суждено повстречаться — против судьбы не попрешь. Нехитрая истина эта мне позднее откроется. А тогда, на исходе календарного лета, я и Шурка, старший брат, мы пошли за грибами охотиться. В сосняках за Волчихой бродили, мало чего подстрелили, а точнее — подрезали, на полуденной «тихой охоте».

Старший брат неутомимый — как сохатый, шастал среди сосен, среди кустов смородяжника, откуда взлетали разнообразные птицы — и вертишейка, и мухоловка, и горихвостка, и сойка — их тут много, не пересчитать. Иногда встречалась белка, хлопотала над своими зимними запасами. Заяц между соснами иногда мелькал, да так стремительно, как будто серый волк вот-вот догонит.

Добытчик из меня плохой. Я все больше стоял, ротозейничал. И потому корзина у меня — пустой свой рот раззявила, ждет, не дождется, когда я угощу ее грибком каким-нибудь, пускай даже червивым. А у Шурки в корзине грибы уже горбатятся разноцветною горкой: маслята, опята, грузди, волнушки, свинушка — чего там только нет. Братуха уже столько награбастал, что скоро, наверно, рубаху скинет, чтобы сделать из нее подобие мешка и еще поднабрать — лишним не будет. Грибник он отличный, аж завидки берут. И вот эти самые завидки заставили меня поссориться с братом. И хоть причины не было, а все-таки нашлась. В школе ведь не зря нам говорили: кто ищет, тот всегда найдет.

В общем, я остался на поляне, а Шурка в сосняки куда-то шуранул, изредка потрескивая сучьями. Поначалу я решил в гордом одиночестве сидеть до вечера, но потом хотел догнать, да поздно спохватился. Раза три аукнул, будто проверяя правильность расхожей поговорки — как аукнется, так и откликнется.

«Ну и ладно, — сердито подумалось. — Сам грибов нагребу — выше крыши».

Походив среди сосен, я действительно вскоре нагреб — на большую грибницу наткнулся. Даже малость притомился от трудов. Сел на старое поваленное дерево, согретое солнцем, какое-то время блаженно сидел в тишине, которую только дятел тихонько долбил. Интересно, где он? Я глазами пострелял по сторонам и вско-

ре обнаружил малиново-багряный огонек — шапочка дятла мелькала на громадной сосне, где находилась кривая и, должно быть, большая, облысевшая ветка. Но самым интересным оказалось вот что.

Сидел я возле лужи, образовавшейся после недавнего грибного дождя. На зеркальной поверхности хвоинки плавали, заплатки желтых листьев прилепились — лето завалилось за середину августа. И вдруг я обнаружил в этой луже отражение сосны и отражение дятла — он как будто под водой работал. Не дятел, а какой-то летучий водолаз.

Меня это развеселило. А затем я заметил жука-водомера и призадумался: как это он по воде умеет ходить пешком? Шурка говорит — законы физики. Шурка головастый, он такие законы, как семечки щелкает, а у меня голова к подобным семечкам не сподоблена. Шурка говорит, что голова моя только к фуражке или к шапке хорошо приспособлена. Шутит он так. Но доля правды в этой шутке есть.

«Интересно, — размышлял я, наблюдая за водомеркой, — этот жучара знает законы физики? Нет? Может, и не знает, зачем ему такие заморочки? А человеку грамотному необходимо знать: по законам физики между водой и воздухом имеется пленка поверхностного натяжения. Братуха сказал. Но и это еще не все...»

И вдруг неподалеку затрещали кусты, заплетенные густой канителью — в паутине подрагивал желтый листок или бабочка угодила туда. И как только треснул первый куст — водомерка моментально прострочила по морю-океану своему и пропала на противоположном берегу.

И я услышал голос, показавшийся знакомым:

— Здорово, Славка. Или кто ты? Колька? А ты чего сидишь тут? Снова заблудился?

Лесник дядя Лёша ко мне подошел. Эмблема на его фуражке, лихо заломленной, золотоцветом горела. Он руку протянул мне — будто взрослому. И я постарался ответить солидно, по-взрослому.

— Да вот, — кивнул на корзину, — по грибы ходил, вон скоко...

— Добытчик! Молодец! А ну-ка, ну-ка. — Дядя Лёша ревизию стал наводить. — Это подберезовик. Это подосиновик — красноголовик. А это чо такое? Белый груздь. О, вот это вещь. Белые грузди на Руси когда-то ценились больше белых грибов. Белые грузди тогда только и собирали, а мимо всех других проходили, как мимо столбов телеграфных.

— Да ну! — Я засмеялся. — Таких больших, как телеграфные столбы, не бывает.

— И вот таких съедобных не бывает. Смотри — это поганка. Ложный гриб. Выбрасываем. И вот этот тоже ядовитый.

— А как ты узнал, дядя Лёша? Он ведь похож на съедобный.

— Я их в лицо узнаю. Грибы, они как люди. Те, что волнуются — это волнушки. А те, что ведут себя нехорошо — свинушки. А у кого под носом мокро — это сморчки.

Он юморил, а мне хоть плачь. Замирая сердцем, я смотрел, как грибы один за другим вылетают из корзины — ударяются об землю и ошметками рассыпаются под кустами.

— Как? И этот ядовитый? — Я стал возмущаться. — Хватит выкидывать! Хватит! Чо я домой принесу? Вот этот хороший такой.

— А я говорю — ядовитый. — Дядя Лёша мне хотел что-то объяснить по поводу коварности грибов, которые только прикидываются съедобными.

Но тут неподалеку сучья затрещали.

На поляне появилась девчонка — будто красно солнышко вышло из-за туч — такая была красатуля в расписном сарафане, в башмачках с какими-то бриллиантовыми брошками, как мне почудилось, хотя на самом деле это поблескивали простые стекляшки. Но я тогда еще не знал, что наступает пора колдовства, когда весь мир становится удивительно ярким, — это краткое, жаркое время первой влюбленности, самой чистой и самой невинной, которая будет всю жизнь сердце твое припекать.

В руках у девочки цветы радужным букетиком пылали, вспыхивая искрами росы.

— Папка, пошли! — пропищала она, как синица. — Чо ты его уговариваешь? Пускай он со своими ядовитыми грибами делает, что хочет.

Несколько секунд я пялился на эту красатулю, ощущая жар под сердцем, точно за пазуху попал уголек от костра, как бывало порой вечерами, когда мальчишки жгли костры на берегах или в бору за околицей.

Я отчего-то оробел, смутился, ногою землю стал ковырять. И вдруг, пересилив смущение, спросил дядю Лёшу:

— А это чо за пугало лесное?

От наглости и дерзости такой даже птицы затихли кругом. Даже рыба в реке рот разинула.

Лесник расхохотался так, что эхо вприскокку побежало между соснами.

— А ты нахал, — сказал он так, как будто похвалил.

Случилось это на излете лета красного, которое так быстро почему-то вянет и пропадает — оглянуться не успеешь. А когда засентябрило, запасмурнело и приспело время отправляться в школу, я вдруг неподалеку от себя обнаружил дочку лесника. И опять смутился, оробел. И начал защищаться грубостью:

— Ты чо за мной таскаешься?

Дочка лесника растеряно похлопала длинными хвоинками ресниц.

— Я? — розовея щеками, тихо спросила. — А ты за мной не таскаешься? Или за папкой моим?

— Ну, вот еще придумала.

— Не придумала. Если бы не папка мой, ты бы загинал в болоте. Чо скажешь — нет?

Ясноглазая, русоволосая дочь лесника в ту пору мне представлялась такую врединой, что если вторую подобную попытаться найти — век не найдешь. Дочка эта, как станет понятно позднее, следом за папкой своим повсюду шныряла, как нитка за иглой. А поскольку жил я без отца — в душе вскипало что-то неприязненное к этой девчужке. И пройдет немало лет, прежде чем я узнаю: лесник дядя Лёша сына мечтал заиметь, а женушка ему все дочерей подкидывала. И, в конце концов, сложилось так, что дочка будто стала сына заменять: охотно занималась мальчишеским делом. Гвозди, молоток, отвертка, стамеска или другая какая железка — это ей было гораздо интересней, чем куколку нянчить или ситцевый сопливчик вышивать крестиком да ноликом. Но эти секреты мне откроются гораздо позже, когда я повзрослею, а дочь лесника заневестится, будет жить далеко-далеко за лесами темными, за горами высокими — на Дальнем Востоке. Будет жить в тоске по Волчихе, по Касмалинскому бору, в котором все еще как будто бродит светлая тень отца-лесника, влюбленного в природу, в тихую охоту.

Глава 10

В последние годы, когда я опять ненадолго приезжаю на родину, когда брожу по улочкам и переулкам, вспоминая и ностальгируя — ноги сами собою приводят меня к деревянной двухэтажной школе. И сердце мое тут горячо и больно вдруг сжимается от любви, от нежности, от жалости.

Школа постарела, обветшала, на лице у нее появилось множество морщин, глаза окошек потускнели, надбровники поистерлись от дождей и снега, на плечистых углах оборвались рукава железных водостоков. Да и вообще — такое впечатление, будто школа живет сама по себе, лишенная хозяйского надзора, без которого она, увы, обречена.

Вчерашнего дня не догонишь, а от завтрашнего не уйдешь. Я это прекрасно понимаю и, тем не менее, хожу вокруг да около старинной школы — точно в поисках вчерашнего денька. Хожу или стою, с печалью несказанной глядя, вздыхая и думая о том, как скоро я покинул эту школу, ой, как скоро. Все хотелось поскорее повзрослеть, во взрослую жизнь убежать. А вот с этим-то как раз и не надо нам, ребята, торопиться. Счастлив тот, кто детство уберег в душе, кто сохранил под сердцем золотое чувство благодарности к учителям, нам глаза открывающим на этот мир.

Подолгу, бывало, стою возле школы, окутанный розовым туманом воспоминаний. Вот здесь, возле редкозубого штакетника, давно пропавшего, все первоклассники тогдашнего «призыва», толкаясь и шумя, выстраивались для фотографии. Первый ряд ребятшек на колени, на сухую осеннюю землю припал, чтобы второй и третий ряд были видны хорошо. Все школяры возбуждены, все нарядно-праздничные, скромно-расфуфыренные. У всех в руках цветы, у всех в глазах восторг и ожидание той волшебной птички, которая вот сейчас-то и выпорхнет из темного скворечника фотоаппарата под названием «Зоркий».

Какое символичное название, если вдуматься.

С годами я все зорче всматриваюсь в эту фотографию, давнишнюю, ветхозаветную, но хорошо хранящую изображение. Раньше серебра для фотографий не жалели, потому и качество

великолепное в отличие от нынешних, довольно-таки скоро тускнеющих и словно бы желтухой заболевающих.

Я даже сам понять не могу, что высматриваю, что выискиваю на этой стародавней фотографии? Разглядеть пытаюсь будущие судьбы? Угадать характеры? Или просто пытаюсь хотя бы узнать кого-то из добрых и светлых, отважных мальчишек, переродившихся в матерых мужиков? Или хочется мне разглядеть кого-то из милых и нежных девчонок, в большинстве своем теперь обабившихся до неузнаваемости? А может быть, ищу я самого себя, мальчика того голубоглазенького, чистосердечного, которого уже на белом свете нет — под его фамилией скрывается бородатый и угрюмый дядька.

Ах, какая это фотография, с грустью думается мне, она почти святая, почти икона: «Собор всех святых, на земле волчанской просиявших». Сколько целомудрия, сколько надежды и веры во всех этих глазенках, широко, доверчиво распахнутых навстречу миру. Сколько желания жить в этом мире по законам совести, по законам чести, справедливости. А многим ли из нас это оказалось по плечу? Кто скажет, кто откликнется с этой драгоценной фотографии?

В самом центре восседает учительница наша — Софья Григорьевна. Математику преподавала, ту самую математику, которая мне люто полюбилась — терпеть не мог. И только поздней, гордой поздней до меня докричался мудрец Галилей: «Математика — это язык, на котором Бог написал Вселенную».

А вокруг учительницы нашей миловидной плотно столпилось столько мелюзги, что теперь даже всех не припомнишь. Вот Люда Литвинова замерла с букетом, девчонка, с которой какое-то время я за одной партой восседал. Славная соседка была — все позволяла списывать, чтобы я за умного сошел. А вот это Михеенко Галя, тоже соседка, только не по парте — по дому на «Тридцатке», на улице «30 лет Октября». А вот это Витька Юров по прозвищу Длинный, таким он казался в те годы. А вот это простодушный, беззащитный, как дитя, Вовка Адамов, Адам. А вот это Саша Духов, один из первых, кто ушел в небытие, но по собственной воле — по неосторожности своей. А вот это Зина преподобная — дочь лесника. А вот это кто? Не помню.

Раньше классы были многодетные. Вначале 60-х, когда мы пошли учиться, первых классов набралось — четыре штуки. И в каждом из них — больше тридцати учеников. А теперь? С десятка наберется? Нет? А как теперь учат? Без муки нет науки — это верно. Только сегодня в наших школах муки гораздо больше, чем науки. Учителя, бедолаги, в казенных бумагах запурхались: справки, отчеты, журналы — стога и скирды всякой писанины. Учителю просто физически некогда с детворой заниматься, пойти всем классом в бор, как это бывало у нас, деревья изучать, траву, цветы, зверей и птиц.

А иногда урок природоведенья мог проходить во дворе: возле школы в ту пору широкошумно толпились зеленые громады сосняков. И где они теперь? Год за годом все чаще мне на глаза попадаются свежеиспеченные пеньки, похожие на блины, облитые маслом затверделой живицы. А тот сосняковый подрост, в котором особо отчаянная пацанва дымокурила на переменах или выясняла отношения, порою доходящие до кровопролития, — сосняковый подрост оказался неудачным, непутевым: криво да косо пошел подрастать, винтом изворачиваясь, узлами завязываясь. То ли порода такая попалась, то ли какая-то хворь привязалась. Да к тому же еще кочегарка, нахально рассевавшаяся неподалеку. Смрадно стала она кочегарить — железное горло трубы всю зиму пыхтит и коптит, сыпет перхотью на сосняки. И вот уже скукожились они, до тошноты надышавшись, — зеленая шерсть порыжела, слиняла, охапками сухими осыпается. Там и тут обнажились жутковато-безобразные черные скелеты, костлявые руки ветвей воздевшие под небеса, будто в мольбе о пощаде, которую теперь едва ли не вымолишь — ожесточился новый русский век и всему находит оправдание. Да и в самом деле — нужна ведь кочегарка. В Сибири зимы лютые: мороз и железо разрывает, и птаху на лету сбивает. Как тут жить без кочегарки, если печи в школе разобрали? Только не в этой школе, не в двухэтажной, которая считалась головной. Печи разбомбили в небольшой, неподалеку находящейся одноэтажной школе, которая теперь-то и не школа вовсе — там детский сад открыли, расчистили площадку для детишек, для стоянки машин, безжалостно и беззастенчиво угробив при этом дюжину столетних сосен.

В тоску меня вгоняет и пугает вот эта беззастенчивость, эта безжалостность нашего нового времени, вот это молодецкое — эх, раззудись плечо, размахнись рука. Что там десяток сосен, вырубленных посредине села? Что кочегарка эта, сгубившая полсотни деревьев? Тайга в Сибири стоном стонет под зубами злобных топоров, зубами бензопил. Тысячи гектаров уже с размахом срезают и за границу вывезли. А сколько вывезут еще — страшно представить. Зелень русской тайги превращается в зелень американского доллара. Какой там, к лешему, цветущий папоротник, открывающий клады в земле? Мы скоро самое простое деревце будем с фонарем искать на месте уникального погубленного бора. Мы скоро...

Ладно, хватит душеньку травить, и вообще: «Чему бы жизнь нас ни учила, а сердце верит в чудеса. Есть нескудеющая сила. Есть и нетленная краса». Разве не так? Поэт, конечно, прав. Вот она, шумит, пылит и весело резвится, наша краса, надежда наша — эти мальчишки и эти девчонки, которые не сегодня, завтра в школу пойдут.

А мне приспело время уезжать — автобус через два часа.

Я подхожу к деревянному, сотнями и тысячами ног затертому школьному крылечку. Закрывая глаза, представляю себя на большой перемене. И все мне кажется, да все мне чудится: вот-вот сейчас, сейчас на этом деревянном, ухоженном крыльце загомосит заливиственный звонок, да не тот, не электрический, каких теперь полно. Тогда-то был живой звонок, настоящий, медногорлый. Ох, как заливался он, бился-колотился в руке у женщины, стоящей на крыльце и рассыпающей такие золотые звоны, которым суждено теперь — через годы и через расстояния — звенеть и звенеть, чтобы мы не забыли вовек эту нашу просторную, светлую, родимую русскую школу, чтобы мы не забыли уроки добра и любви.